
ВАЛЕРИЙ ШАМШУРИН

ДОРОГА НА КИТЕЖ

К 100-летию Бориса Корнилова

ВЗЫСКУЕМЫЙ ГРАД

Родина Бориса Корнилова – нижегородское лесное Заволжье, глухие керженские урманы. От уездного городка Семенова уводят проселочные дороги, затененные сосняками, в непролазную глушь, где издавна находили приют гонимые староверы. Непрístupными крепостями кажутся древние пущи, все еще утверждая власть природы над суетным человеком.

Недаром лесные раздолья вокруг Семенова овеяны легендами. И беспрестанно влекут сюда впечатлительных любителей девственной природы таинственные дебри, заброшенные старообрядческие скиты, золотое хохломское узорочье, возникшее когда-то словно по волшебству. А особенно влечет дивный Керженец, в красноватых от мхов струях которого вроде бы отражается еще зыбкими и смутными видениями старая Русь с темными ликами икон, мудреной вязью кириллицы, прозеленевшими шандалами и застежками рукописных книг, слюдяными решетчатыми оконцами, обомшелыми срубами да голубцами-кровельками на запряженных у опушек кладбищах.

Ниже тут места, что некогда обживались святым Макарием, основавшим на впадении Керженца в Волгу прославленный монастырь, недалеко на восток – озеро Светлояр с затонувшим чудо-градом Китежем.

Павел Мельников-Печерский, знаток этого края, не без оснований утверждал: “В заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам”. А было это еще в Рюриковы времена. И нет никакого сомнения у исколесившего вдоль и поперек заповедные места писателя, что “там Русь сыстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней”. Написано это было в конце 60-х годов позапрошлого века.

Несколько по-другому увидел Заволжье писатель Алексей Потехин, натурально изобразивший в очерке “Река Керженец” (1856 год) нравы и быт местных крестьян. В частности, он отметил: “Столичный или степной житель с трудом представит себе и поймет ту глушь и дичь, которая царствует в здешних лесах теперь, в настоящее время, когда постоянная рубка и пожары сильно разрешили прежние непроходимые лесные чащи, привольные места для медведей, оленей, раскольников и делателей фальшивой монеты, давших самому Семенову свою особенную местную поговорку: “Хорош город Семенов, да в нем денежка мягка!”

Рассказывает Потехин и о старинном обычае втайне от всех, даже от домашних, ставить на перекрестках дорог деревянный крест как исполнение святого обета, подобного скрытному приношению в Божий храм. Кресты или часовенки автор видел довольно часто в самых глухих местах.

Замаливать грехи было кому, ведь не только благочестивые старообрядцы населяли дикие чащобы, но и всякий беглый вольный и разбойный люд. Видно, одним из лихих молодцов был и прадед Бориса Корнилова, родство с которым приводило в смятение поэта:

*Старый коршун – заела невзгода,
как медведь, подступила, сопя.
Я – последний из вашего рода –
по ночам проклиная себя.*

В том-то и драма, что нельзя отречься, напрочь отказаться от родства. И не умеющий кривить душой певец своего дорогого сердцу края, с которым он накрепко связан родовыми корнями, как перед тайно воздвигнутым крестом, исповедует в стихах:

*Я себя разрываю на части
за родство вековое с тобой,
прадед Яков – мое несчастье, –
снова вышедший на разбой.*

Выпирало из поэта никак не красящее его это мрачное родство, но Корнилов не был бы так исповеден и самобытен, если бы не оставался верен правде своих переживаний и чувств, да и вообще самой правде жизни, поистине с кержацкой неукротимостью и решимостью отстаивая право на собственную поэтическую суверенность. И даже ломающие его противоречия таили ту же самую неизмеримую мифическую глубину, в которую был погружен сказочный Китеж, скрывающий не одну русскую загадку.

Недаром накануне смутных времен тянуло к Светлояру мыслящую элиту, пытавшуюся найти дно таинственного озера, панацею от всех несчастий.

Пожаловал сюда и великий правдоискатель Владимир Короленко, и ему было любопытно наблюдать, как толпы людей стремятся увидеть “град взыскуемый”, трижды оползая на коленях озеро и пуская на щепках зажженные свечи по недвижной воде. Немало споров возникало здесь, кончаясь впустую. Конечно, не досужее ли это занятие доискиваться, бывает ли вера без правды, а правда без веры, как и действительно ли могут быть слышны звоны подводных колоколен или не могут? Много голов – вовсе не значит много мыслей. И едва ли секрет в том, что над Светлояром находятся два мира: один настоящий, но невидимый, другой – видимый, но ненастоящий.

Как бы там ни было, Светлояр привлек к себе на роковом переломе веков страстного проповедника русского искусства Николая Римского-Корсакова, создавшего оперу “Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии” (1904 год). К Светлояру послушать народные прения устремились склонные к мистике Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. У Светлояра побывал раздумчивый Михаил Пришвин.

Поэта Корнилова не могло быть, если бы он не имел здесь предков, которые, как древние ели или сосны, падая на землю и сами становясь землей, не оставляли подрост или, говоря иначе, потомство. С появлением в русской поэзии Корнилова появились и корниловская “синь Семеновских лесов”, и корниловский Керженец, и корниловская “соловьиха”. И все это обновлялось свежими красками, живой страстью, темпом и мелодиями времени, призвавшего к себе молодость и отвагу. Так поэт попытался соединить с прошлым настоящее, не зная, что за это придется расплачиваться жизнью и последующим забвением.

Потому что тогда невозможно было соединить времена.

И целых двадцать лет не упоминалось имя поэта, вычеркнутого из литературы, из бытия, из истории. Слова написанной им “Песни о встречном” привыкли называть народными. Они и вправду стали такими, тут уж ничего нельзя было поделать. Светло и бодро звучала песня, еще не обнаруживая в себе трагизма, который услышится позднее. Забыли Корнилова Москва и Ленинград, забыл его, как и свое прежнее имя, город Горький, и лишь на окраине Семенова помнила о своем Бореньке поседевшая мать да его две сестры. И, наверно, помнили его дороги и тропы, по которым

он ходил, черные и красные рамени, боры-беломошники, ельники-черничники, дубравы и прикерженские ольховые поймы, что не сдвинулись с места и шумели под ветром так же приветно, как в юные годы поэта, не изменившего своему краю.

Словно бы исподволь, само по себе, произвольно, как из почек пробившаяся листва, возникло, проявилось, обозначилось совершенно незнакомое для новых поколений имя, ставшее не только неожиданным, но и необходимым.

Корнилов возвратился, потому что стал востребованным, потому что в его судьбе и его поэзии оказалось немало того, от чего жизнь становилась осмысленней, ярче и ценнее. И, конечно, его возвращение было делом нашей чести, нашей совести.

Да, воистину: не поэт выбирает время, а время поэта.

Но это не значит, что Корнилов стал принадлежать только нам, перестав соответствовать тому яростному, жесткому и жестокому времени, которое вознесло его и погубило. И это также не значит, как в некоей лукавой схеме, что на родной нам земле все лучшее губится произволом и дикостью, хотя у Корнилова, безусловно, были основания определять цель жизни вовсе не непрерывной борьбой, а отрицанием всякого человеческого противостояния:

*Я вижу земную мою красоту
без битвы, без крови, без горя.*

Это и есть истинный Корнилов. Это и есть самая высокая его мысль, высказанная со всей искренностью и убежденностью.

При всем при том поэт хорошо понимал совпадающее с его жизнью время, состоящее из преодолений и борьбы, что в непрерывном ускорении заставляло двигаться всех и вся на пределе возможностей и сил. “Время, вперед!” – это не только лозунг, это стремление и необходимость выкладываться до конца.

Но вот же, вопреки всеобщей горячке и повелительным декларациям, появляется трепетный мотив:

*Усталость тихая вечерняя
Зовет из гула голосов...*

Появляется нечто личное и, может быть, самое важное:

*Только тихий дом
мне в стихи залез...*

Корнилов народен своей кровной связью с бедственной и высокой судьбой родной земли, неотрывен от нее, от всех ее радостей и мук. Вот почему дано ему было талантом и провидением право говорить от имени своего поколения, и он честно использовал это право. Его упрекали в подражании Сергею Есенину, находили в его стихах отголоски Владимира Маяковского и Эдуарда Багрицкого, но все же сразу отличали от других корниловский голос и корниловские интонации. Он стремился высказаться до конца по-своему, по-бойцовски. Он не подвел. У него получилось.

Как рыба, которой суждено плавать только против течения, так и мыслящий художник стремится противостоять повседневности, чтобы ощутить дыхание вечности. Поэтому-то староверческий Керженец вместе с Китежем и открываются внутреннему зрению в самый заветный провидческий час. К сожалению, Корнилову не дали дожить до этого часа. И все же он навеки остался со своей ненаглядной сосновой стороной.

“Я РОС В ГУБЕРНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ”

В начале прошлого века, перед великими потрясениями Семенов имел наиболее привлекательный вид. В центре его на замощенной булыжником площади возвышался величественный собор с колокольней, где висел

колокол, отлитый к трехсотлетию Дома Романовых. Рядом с площадью был разбит липовый парк, а возле него поблескивал небольшой пруд. От площади лучами расходились восемь улиц, главная из которых называлась, как и в Нижнем Новгороде, Покровкой, в отличие от других имевшая не деревянные, а кирпичные тротуары. На ней располагались и магазины, дополнявшие каменные торговые ряды, сооруженные против собора. Были в городе еще старообрядческая да кладбищенская церкви и деревянный храм в Солдатской слободе. При всей планировочной симметрии, утвержденной в былые годы властительной Екатериной, Семенов не утратил благостного уюта налаженной жизни с обильной зеленью у деревянного жилья, с рябинами и черемухами в палисадниках, с зелеными выгонами и лужайками, с хлопками пастушьего кнута и грузной поступью стада на рассветных и вечерних улицах, с хлебным запахом дыма из труб, с широким торгом местной снедью и кустарными поделками, которому никогда не хватало обширной Базарной площади с ее лабазами. Со стороны нижегородской дороги Семенов начинался прокопченными кузнями, где выковывали всякий необходимый инструмент. Известен был во всей округе искусный мастер Строинский, изготавливавший плотницкие да ложкарные топоры и тесла. Для кержацких лодочников, выдалбливающих ботники, готовили рабочую снасть братья Ладилковы. Повсюду по усадям торчали похожие на баньки лачильни, где окрашивались деревянные ложки да чашки. Предприимчивый художник Георгий Матвеев с учениками ходил по этим лачильням, собирал у кустарей заготовки для открытой им школы хохломской росписи. Всему доброму люду был рад Семенов, каждого привечая словами “Мир, дорогой!” Да еще при этом шапку снимал.

Потому-то и не скрывал ни от кого свои неохладающие благоговейные чувства к негромкой кержацкой столице почтенный писатель Сергей Васильевич Афоншин, признаваясь: “Всегда любил этот город. Я любил его весь, каким он был, и люблю, каким он стал”.

И поныне еще не утратил Семенов былого привечания и душевного тепла. По преимуществу деревянный и одноэтажный, он хранит в своих старых крепких срубах, в крылечках и наличниках, в узорной резьбе и геранях за окнами, в старых матерых деревьях и давно протоптанных стежках-тропинках, во всем своем облике и в настоявшейся, как целительный напиток, благодатной тишине тот самый дух, который называют духом старины, понимая под ним только прошлое, хотя добрый обиход, радушие, чистосердечность, деликатность, уважительность, щедрость, с чем приходит в наш век вовсе не навязчивая старина, необходимы сейчас как поддержка и как спасение, а значит, они насущны, своевременны, современны.

Как бы хотелось, чтобы в новых, из камня и бетона строениях не преклось то, что является истинной целью жизни – способность любить и умножать добро и красоту. К этому, в конечном счете, и подвигала поэзия Бориса Корнилова, родившегося и возросшего в славном городе Семенове.

В литературе о поэте по поводу места его рождения вышла неувязка, с которой долгое время не могли справиться биографы и критики. В авторитетном издании, например, вышедшем в большой серии “Библиотека поэта” в 1966 году, было опубликовано стихотворение Бориса Корнилова “Из автобиографии”, начинавшееся так:

*Мне не выдумать вот такого,
и слова у меня просты –
я родился в деревне Дьяково,
от Семенова – полверсты.*

Кажется, все ясно. Но во вступительной статье к стихам поэта известным критиком Львом Аннинским утверждается нечто иное:

“Строка: “Я родился в деревне Дьяково, от Семенова – полверсты” – неточна. Борис Петрович Корнилов родился в селе Покровском Семеновского уезда, Нижегородской губернии, 29 июля 1907 года”. Не менее занимательно то, что сообщается далее: “Семенов – уездная глушь. Маленький чугунолитейный заводик, несколько тысяч жителей, большинство кормится промыслом: режут из дерева ложки. Дьяково – еще большая глушь. И еще большая глушь – Покровское. Старая, кондовая, старообрядческая Русь,

гнездовье раскола, родина Мельникова-Печерского. Полуразрушенные монастыри, замшелые часовни, дремучие леса, древние сказания: о невидимом граде Китеже, о Батыевой тропе; отсюда, из этой вековой и безмолвной толщи, выйдет Корнилов и назовет эти места: “Моя непонятная родина”. Из этой глуши он выбирался медленно”.

Кроме небрежности и ошибок налицо в этом тексте явная предвзятость: и эта – трижды – глушь, и “гнездовье раскола”, и “безмолвная глушь”, откуда якобы медленно выбирался поэт. На своей совести оставляет автор статьи и голословное утверждение о селе Покровском, без объяснений пренебрегая строкой “я родился в деревне Дьяково”. Так что едва ли можно доверять Аннинскому при всем его авторитете и его известности. Кстати, свои промахи он повторяет и в предисловии к “Избранному” Бориса Корнилова, выпущенному в свет издательством “Художественная литература” в 1990 году. Правда, есть поправки: например, “родина Мельникова-Печерского” заменяется на “исток”, что тоже заставляет подозревать автора в суесловии.

Биограф поэта Леонид Безруков заявляет в послесловии к “Избранному” Корнилова, появившемуся благодаря Волго-Вятскому книжному издательству в 1966 году: “Борис Петрович Корнилов родился 16 июля 1907 года в селе Покровском Семеновского уезда”. И тоже без всяких ссылок и доказательств.

Несмотря на предпочтения Аннинского и Безрукова, все равно вышло, что Корнилов одновременно родился в двух местах – Дьякове и Покровском. Лишь когда старейший писатель, встречавшийся с Корниловым в юные годы, Константин Поздняев сверил стихотворение “Из автобиографии” с подлинником, где обнаружил в злополучной строчке начертанное рукой поэта не “родился”, а “крестынил”, безоговорочно было признано, “что новорожденного младенца Корнилова положили в люльку именно в Покровском”. И все же кое-какие факты не сходились. Требовалось более тщательное исследование. Необходимо было документальное подтверждение.

Поисками его и занялся пытливый и энергичный семеновский краевед Карп Васильевич Ефимов. Нередко бывает так, что истину перестают искать, свыкаясь с тем, что утверждают авторитеты. И ошибка в конце концов становится дороже правды, поэтому ее и тиражируют. Можно себе представить радость увлеченного благой целью исследователя, когда он в Семеновском загсе стал просматривать “Метрическую книгу о родившихся, браком сочетавшихся и умерших в 1907 году”, ранее хранившуюся в Вознесенском соборе, и там нашел неопровержимое свидетельство.

“День рождения – 16 июля; день крещения – 17 июля; имя – Борис; звание, имя, отчество и фамилия родителей: учитель Безводнинского земского училища – Петр Тарасов Корнилов и законная жена его Таисия Михайлова, оба православные; восприемники: семеновский земский врач Евгений Иванович Самосский и жена земского фельдшера Фиона Лукояновна Милотворская, диакон Федор Чижов, исполняющий обязанности псаломщика Павел Фиалковский”.

Итак, не может быть никаких сомнений, что Борис Петрович Корнилов родился 16 (по новому стилю 29) июля в Семенове. Произошло это в больнице на улице Семеновской (ныне Гагарина), где работал благодетель семьи врач Самосский. Первое время после рождения ребенок находился у родителей матери, живших в Семенове.

Кстати, в 1907 году, согласно записям в “Метрической книге”, родилось в Семенове 115 человек, а умерло 87. Прирост населения был ежегодным. И нельзя сказать, что жизнь здесь была вовсе уж безотрадная и пропадающая. Нелегкая – это да. Но когда и где она в России была легкой?

Трудно пришлось на своем веку деду Бориса Тарасу Яковлевичу, бедняку из бедняков, который с пятью сыновьями делал ложки и за бесценок сдавал их скупщику. Земельного надела у него не было. Крайняя нужда довела его до нищеты. Из всех сыновей в люди вышел Петр, самостоятельно выучившийся грамоте по псалтыри. Его приняли в церковно-приходскую школу. Но вот несчастье – заболел он оспой. Врач Евгений Иванович Самосский, лечивший мальчика, привязался к нему и с согласия родителей взял его на воспитание. Окончив Семеновское городское училище, Петр Тарасович с помощью Самосского смог поступить на двухгодичные курсы учителей начальных классов в Нижнем Новгороде, вернувшись в родные

края с горячим желанием “сеять разумное, доброе, вечное”. Благородный Евгений Иванович ободрял и напутствовал воспитанника.

Дед Бориса по матери был выходцем из Владимирской губернии, работал управляющим мануфактурного магазина. Перебравшись в Семенов, женился. Таисия Михайловна воспитывалась в многодетной семье. И после школы тоже, как и Петр Тарасович, выбрала учительскую стезю. Начался для нее первый учебный год в красивейшем селе Покровском, расположенном вдоль берега Керженца. Забот ей досталось немало: село было ложкарным, и родители не пускали в школу детей, которые уже с малых лет наловчились делать ложки и помогали взрослым наполнять продукцией плетенные из лыка короба. Вот и приходилось молоденькой учительше ходить по домам и уговаривать борода-тых кержаков не оставлять своих чад без грамоты. Уважительность и добросердечие помогали ей обрести доверие родителей – в школе начались занятия.

Встреча молодых Петра Тарасовича и Таисии Михайловны – им обоим было по двадцать два года – произошла на уездном учительском совещании, которое проводилось в каникулы. И они потянулись друг к другу. Правда, свидания им назначать было трудно, ведь расстояние между школами, где они работали, не позволяло встречаться часто. Но известно, что настоящая любовь преодолевает все преграды. И в октябре 1906 года Петр Корнилов и Таисия Остроумова венчаются. А в июле следующего года у них появляется первенец – Борис, крестным отцом которого становится покровитель молодой семьи доктор Евгений Иванович Самосский.

Когда Борису исполнилось три года и у него появились сестры Лиза и Шура, родителям предоставили возможность работать в одной школе – и это была начальная школа в деревне Дьяково. Много было зелени и простора вокруг, а старые тополя стражами высились по концам улицы со сложенными из хорошего крепкого леса избами. Близость к уездному центру позволяла говорить о Дьякове, что, мол, оно находится “и в стороне, и в людях”.

Из Дьякова можно было пройти до мельницы на реке Санахте у Жужельского омута, а потом начинались бесконечные леса, что тянулись до низовий Керженца и скрывали в своей гуще келейки Оленевского скита. Тут жизнь шла другая – потаенная, суровая, но и в ней была своя чистота сердца, и красота, и потрясающая стойкость, подобная чуду. Дьяково, можно сказать, соединяло два мира – видимый и скрытый от посторонних глаз, что и до сих пор загадка, которую старался постичь еще Короленко, странствуя в окрестных местах. Говорили, что Дьяково и примыкающее к нему поле когда-то были отданы на прокормление столичному приказному дьяку, потому деревня и получила свое специфическое прозвание, только что-то о самом дьяке сроду тут никто ничего толком сказать не мог. Известно лишь, что в Дьякове всегда люди были на подбор – высокие и статные: может, от стрельцов пошли. И хорошо тут старинные песни певали...

Как было принято, Корниловы поселились на квартире в одном здании со школой. До этого они работали в деревне Кожихе и теперь получили возможность перебраться ближе к уездному центру, оказавшись в полуверсте от Семенова. Одноэтажная бревенчатая школа, в одной половине которой находились классы, а в другой – учительское жильё, вполне устроила неприхотливых новоселов. Тем более что в придачу они получили земельный участок, колодец, баню и хлев для скота. Можно было налаживать жизнь, обходясь самым необходимым.

И, действительно, все складывалось удачно на новом месте. Петр Тарасович, уже проявивший себя как отменный педагог, взял на себя основную нагрузку, чтобы у Таисии Михайловны была возможность заниматься домашним хозяйством и своими малыми чадами. А Борис повадился ходить на уроки отца, молчком вставал к печке и, не шелохнувшись, выслушивал, что спрашивал отец и что отвечали ему ученики. К малышу привыкли, словно и он тоже стал учеником. Едва ли кто тут подивился, что в пять лет малыш уже мог читать.

Читал он запоем. И впоследствии так написал об этом: “Я очень рано выучился читать. Пяти-шести лет читал Гоголя, Бичер-Стоу, Луи Жаколио. Читал без разбора, так как у моего отца, сельского учителя Нижегородской губернии, вся библиотека помещалась в одной бельевой корзине. И первый поэт, которого я раскопал среди номеров “Нивы” и приложений к ней,

был Пушкин. Шел 1913 год. Прочитав томик Пушкина, я написал первое мое стихотворение “Смерть поэта”. Конечно, о Пушкине. Поощрения, переходящего в восхищение, со стороны домашних не встретил, но Пушкина таскал с собой всюду. После, когда передо мной встала целая армия российских поэтов, которая хоть бы количественно должна была затушевывать образ Пушкина, я все-таки часто раскрывал “Медного всадника” или “Евгения Онегина” и читал их как будто снова. Эти две поэмы я больше всего люблю у Пушкина, может быть, потому, что равным им по своей реалистичности (правдивости), по своему изумительному исполнению нет не только в отечественной поэзии, но и в мировой”.

“Пушкина таскал с собой всюду” – это о многом свидетельствует. В частности, о том, что приобщенного к высокой поэзии с раннего детства Бориса Корнилова ни в коем случае нельзя назвать дилетантом, неучем, профаном, как это не раз бывало при его жизни, что и сказывалось в пренебрежении, высокомерии, брюзгливости литературных критиков по отношению к нему.

На день рождения отец, видя, как увлечен Борис чтением, подарил ему книгу Николая Гоголя. Уже осознав силу слова, Борис настолько выразительно читал вслух сестренкам “Вия”, что Шура не на шутку перепугалась и убежала от брата со слезами.

Таисия Михайловна впоследствии вспоминала: “Бывало, приходят к нему товарищи, зовут гулять, а он расстаться с книгой не может”.

Однако Бориса никак нельзя было назвать домоседом, склонным к одиночеству и замкнутости. Он рос подвижным, резвым и озорным ребенком, с охотой бегал с приятелями на речку и на луга, с азартом вступал в игры, отправлялся пасти лошадей в ночное, ходил в лес по грибы, хотя детство его едва ли можно назвать безмятежным.

Случилось нежданное. В 1914 году началась война с Германией, и вскоре отца призвали на фронт. Таисии Михайловне пришлось взять на себя двойной груз: вести уроки и заниматься домашними делами. В доме остался один мужчина – Борис, которому исполнилось восемь лет. Вот когда ему пришлось исполнять взрослую работу: колоть дрова, носить воду из колодца, копать землю, возить навоз, косить траву. Жили по-крестьянски, любя землю. И об этом он никогда же не забудет.

Отец вернулся домой только через шесть лет, еле вылечившись от тифа. Вернулся в новую жизнь после бурных событий Октября 1917 года и опустошительной Гражданской войны. Полагаться можно было только на себя, и Пётр Тарасович купил рыжую лошадедку со звёздочкой на лбу, чтобы вести собственное хозяйство. Стали сеять и рожь, и овёс, сажать картофель.

Годы были памяты изнурительной работой, нуждой и тяжкими думами о будущем. Мечта о светлой жизни воплощалась только в плакатах и лозунгах. Но молодёжь была захвачена ей, и потому именно на молодых делала ставку новая власть.

В 1921 году Борис продолжил учёбу уже в городской школе второй ступени (ныне это средняя школа № 1). И некоторое время ему пришлось ежедневно ходить из Дьякова в Семёнов пешком. В поэме “Тезисы романа” он напишет:

*Я рос в губернии Нижегородской,
ходил дорогой пыльной и кривой,
прекрасной осеняемый берёзкой
и окружённый дикою травой.
Кругом – Россия.
Нищая Россия,
ты житницей была совсем плохой.
Я вспоминаю домики косые,
покрытые соломенной трухой,
твой безразличный и унылый профиль,
твою тревогу повседневных дел
и мелкий нерассыпчатый картофель
как лучшего желания предел.*

Да, подростковые годы, оставляющие самые яркие впечатления, пришлись у поэта на тяжелейшее время – разруху, но вину за это, как было принято извечно, возлагали целиком на побеждённых. Не избежал такого подхода и Корнилов, подражая хлётским агиткам и обличениям, составив известный демьянобедновский набор: “мироед, урядник, да кабаки, да церковь, да пеньки”. С маху даже и пенькам от него досталось.

И вполне объяснимо, почему в зрелые годы пришлось поэту переживать разлад с самим собой. Новое бурное время втянуло поэта в себя, повлекло по своей стремнине, лишило душевного покоя и уничтожило – свирепо и бескомпромиссно.

А всё началось как раз в пору его взросления и возмужания. Нет, не в самой семёновской школе, а вне её стен. В школе веяло духом романтизма. Класс, в котором он сидел в среднем ряду на задней парте, был покорён балладами Василия Жуковского, своё увлечение которым передала впечатлительным питомцам преподавательница литературы Анна Ивановна Дмитровская. Борис сидел за одной партией с миловидной девочкой Лидой Фешиной, которая потом вспоминала:

“Помню, что мы с удовольствием учили наизусть переведённую Жуковским балладу “Лесной царь” Гёте. Борис хорошо декламировал, его часто просили читать на уроках. Читали, пересказывали баллады “Светлана” и “Ундина”, “Наль и Дамаянти”. Нас покоряли лиризм и песенность произведений Жуковского, идеи верности и добра, победа добра над злом и, конечно, занимательный сюжет. Не случайно в классе некоторым ученикам были даны имена героев баллад. Так, после знакомства с балладой “Наль и Дамаянти” Бориса стали называть Наль, а меня – Дамаянти. Конечно, никакого сходства у нас с героями баллад не было, тем не менее мы фантазировали. Помню, что Борис хорошо учился, был общительным...”

Как беспредельно далеко от жизни было то, о чём писал Жуковский в индийском сказании “Наль и Дамаянти”:

*... И мнилось мне, что годы пролетели
Мгновеньем надо мной, оставив мне
Воспоминание каких-то светлых
Времен, чего-то чудного, какой-то
Волшебной жизни...*

Не только в содержании, но даже в самом умиротворяющем плавном размере, в пластике стиха чувствовалась отдаленность изжитых и как бы идиллических времен, их необратимость.

Новое время выражало себя категорично, броско и напористо. В Семёнове власть утверждалась силой. В середине января 1918 года тысячная толпа под гром набата сошлась на Соборной площади, чтобы выразить протест против захвата власти Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Красногвардейцы и солдаты из уездной воинской команды выстрелами разогнали двинувшийся на них народ, убив и ранив несколько человек. Летом того же года создается большевистская организация. В следующем году заявляет о себе комсомол, куда потянулась беспокойная молодежь, увлеченная решительными призывами, кипучими сборищами и плясками под гармонь. Зверская расправа над тремя юными комсомольцами И. Козловым, А. Дельфонцевым и Н. Завьяловым, которую учинили дезертиры, прятавшиеся в лесу, настроила молодежь на готовность к жестокой борьбе. Военная подготовка, изучение оружия, военизированные игры становятся чуть ли не повседневным явлением.

Вечерами на главной Соборной площади тон задавала молодежь, сзываемая гармошкой. Ходила толпами по улицам, задирали прохожих, пела злободневные частушки. Гуляли семёновские парни с девушками и в городском саду под высокими липами, рассаживались по диванчикам, слушали по воскресеньям духовой оркестр. И вовсе не глухим медвежьим углом, не захолустьем представлялся уездный Семёнов, взбудораженный молодыми голосами. Все прежнее отmetalось, все новое приветствовалось. И, конечно, никто не думал о последствиях, кроме выдавших виды стариков. Но кто им внимал?!

Вот тогда возбужденного новыми веяниями Бориса Корнилова и потя-

нуло к перу. Таисия Михайловна вспоминала: “Всегда ходил с тетрадкой и блокнотом. Чаще всего написанное прятал или рвал, за что мы на него обижались”. В школе юный сочинитель пристрастился выпускать стенгазету, помещая в нее свои заметки и частушки. У каждого нового номера собиралось немало любопытных читателей.

В 1923 году, после окончания восьми классов школы 2-й ступени, Борис решил оставить учебу – девятый, последний, класс лишил его самостоятельности выбора, потому что занятия в нем в основном состояли из практики, определявшей способности к учительской работе. Но этого юноша никак не хотел, ему грезилась иные горизонты. Потянуло к комсомолу, где была живая интересная работа. Способного бойкого парня уже приметили в уездном комитете, где ему без промедления определили должность инструктора бюро юных пионеров.

Еще не познакомившийся с Корниловым в ту пору Константин Мартовский вспоминал, как осенью 1923 года сам он двенадцатилетним школьником записался в первый пионерский отряд Семенова. В пионеры тогда принимали не только мальчишек, но и парней вплоть до восемнадцати лет, потому что пионерская организация считалась чуть ли не военной, а руководил ей демобилизованный молодой командир Красной Армии, побывавший в ЧОНе – частях особого назначения, Василий Молчанов. Первое время собирались в саду около летнего театра, ходили строем по улице, сопровождаемые едкими насмешками. Но ничего – терпели, маршируя, сдваивая ряды или рассыпаясь в цепь. Было первых пионеров всего около тридцати человек.

По поводу существования ЧОНа в то время были разные мнения. Не смог внятно сказать о нем в конце своей жизни Василий Фаддеевич Молчанов, который сообщал в письме Л. Безрукову о прямом участии Корнилова в ЧОНе, а исследователю творчества поэта М. Берновичу писал, что ЧОН уже никак не проявлял себя, расформированный еще в 1921 году.

Настаивая на своем, Мартовский приводит довольно убедительные свидетельства:

“Был ли в те годы ЧОН действенной боевой единицей, я не знаю, да и каких-либо боевых операций на территории Семеновского уезда не проводилось. Во всяком случае, на Покровке, на втором этаже одного дома было помещение ЧОНа (не военкомата, военкомат располагался, как хорошо помню, на другой улице), где хранилось оружие. Комсомольцы-подростки, в числе которых уверенно помню Б. Егошина и самого Б. Корнилова, там дежурили, перекликались оттуда с нами, проходящими по улице. Хорошо также помню, как на траурном митинге в январе 1924 года вооруженные винтовками ребята, среди которых был и Борис, стояли строем позади нас. У меня сохранилось описание тех дней в письме моего брата к отцу, где он пишет: “Чоновцы стреляли из ружей”.

Винтовка в руках впечатлительного подростка, начинающего поэта была не столько оружием, сколько вещественным напоминанием о революции и Гражданской войне, которые рисовались в воображении великими героическими деяниями, самоотверженными подвигами, совершаемыми титанами духа. Крутое время брало Корнилова в оборот.

В 1923 году семья Корниловых перебралась в Семенов, где Петр Тарасович и Таисия Михайловна купили домишко на улице Крестьянской, продав лошадь, корову и швейную машинку. Теперь они стали городскими жителями, хотя в доме семье было разместиться нелегко. Пришлось всем спать на полу. Но это не такая большая беда, если жилье свое. Петр Тарасович стал работать в детском доме, а Таисия Михайловна учительствовала в деревне Хвостиково.

Бориса в уюте приставили к соответствующему его наклонностям делу. Он стал редактировать стенную газету “Комса”, которую самолично вывешивал у входа в городской сад. Сам писал и сам рисовал карандашами и красками. Выходило неплохо, товарищи одобряли.

Семенов 20-х годов прошлого века. В нем еще много старины, непорученного быта, неспешливости, обстоятельности, старой мебели, самоваров, часов-ходиков и потемневших намоленных икон. И еще горят лампы в киотах, подтверждая незыблемость веры вопреки всем новшествам и перестройкам. И стучат по мостовым копыта рабочих саврасок и колеса те-

лег, и дымят кузницы, и теряют счет своим березовым и осиновым заготовкам ложки, и пахнут густеющими красками лачильни. Никакие построения и “вольные движения” голоштаных молодцев в трусах и майках, составляющих “пирамиды” на сцене Народного дома, никакие шествия орущих лозунги перезрелых пионеров, никакая агитация и пропаганда несущих оклеисцу ораторов о светлом будущем без Бога и без насилия; никакое обещанное равенство и братство еще никого не обманывают, кроме ошалевшей от полной свободы молодежи, что того и гляди станет ходить на головах.

И пусть висит себе над воротами тюрьмы, огороженной частоколом, красное полотнище со словами “Труд искупит вину!”, пусть дребезжат себе по центральному улицам пролетки с уполномоченными, пусть топают себе в худой обуви паренки с винтовками на плече, пусть играет по воскресеньям в городском саду духовой оркестр возбуждающий гимн всего пролетариата в смычке с крестьянством “Интернационал” – все равно, в конце концов, как думал про себя обыватель, побеждает он, одни лозунги меняются на другие, как и песни, и наступает долгожданный покой с вечерним звоном.

К этому вроде все и шло. Но однажды вздрогнул весь Семенов, когда среди жаркого лета, в сушь, лишившаяся части разобранного лихой артелью каменного подножья рухнула на площадь высокая колокольня, потеряв отлетевший расколотый купол. Развален был и прекрасный Вознесенский собор, в котором крестили Бориса Корнилова и еще сотни и сотни младенцев нескольких поколений.

Покою не должно было наступить в стране, даже в самой ее отдаленной от центра глубинке, потому что “старый мир” еще оставался не до конца и не до основания разрушенным.

Корнилов не видел падающей колокольни – его тогда в Семенове не было.

Известно, Корнилов любил безобидные розыгрыши и привлекал к себе знакомых и незнакомых добродушием, непосредственностью и, конечно же, стихами. Не только своими, а еще и нравящихся ему известных поэтов, кумиров молодежи.

И случалось так: вечер, комната бюро юных пионеров в уездкоме, несколько вожатых вместе с Молчановым на скамьях, отсвет уличного фонаря в окне, две старые винтовки в углу, а на голом столе в модной кепке “еропланом” возлегает, подобно богемным любимцам вольных компаний, Борис Корнилов и с некоторым надрывом декламирует стихи Есенина:

*Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.*

Есениным он увлекался до самозабвения.

* * *

1925 год стал переломным для Бориса Корнилова. Поэзия уже всерьез захватила его. Все видели это. Видели и комсомольские соратники, хотя он не пренебрегал своими прямыми обязанностями. Вот фрагмент из его выступления 23 августа на расширенном пленуме укома РЛКСМ: “Для продвижения физкультуры в деревню нужно использовать гулянки и всевозможные праздничные сборища, устраивая игры, выступления”. А вот тезис, противоположный сказанному ранее, с которым Корнилов обратился к оргколлегии укома 16 октября: “В ячейке заметен уклон в сторону культурничества. Не нужно обращать слишком большое внимание на постановку спектаклей, а вести массовую, общественно-политическую работу”.

Лексика и доводы типичного комсомольского работника, меняющего тактику в зависимости от обстоятельств или, как тогда говорили, от текущего момента.

Конечно, на творчество всерьез времени не хватало. Возникла дилемма: или – или. Нужно было поступить со всей решимостью. Борис сделал окончательный выбор. Укомовцы поддержали его.

“Слушали: Заявление инструктора Убюро ю/пионеров Бор. Корнилова с просьбой об откомандировании его в институт журналистики или в какую-либо литературную школу.

Постановили: Ходатайствовать перед Губкомом РЛКСМ об откомандировании т. Корнилова Бор. в Государственный институт журналистики или в какую-либо литературную школу, так как у т. Корнилова имеются задатки литературной способности”.

Неясно было укомовцам, куда именно придется поступать их товарищу, но они сделали для него все возможное, чтобы помочь определиться и найти ему нужное место, где бы он был устроен и удовлетворен. Им очень хотелось успеха своему поэту из коренных семеновцев, одних с ними убеждений и одного пути, в стихах которого воспевалась кипучая новь, светлые зори жизни и комсомольская братва. Он должен был оправдать их ожидания.

Решение укомовцев было принято еще летом, но до самого конца года Корнилов оставался в Семенове. Несколько его стихов публикует нижегородская комсомольская газета “Молодая рать”, и это придает ему уверенности. А может, заставляет сомневаться. Ведь стихи не ахти какого качества — одна выпрєнная декларация.

*Прошли тяжелые года,
Хотя не стерли все угрозы,
Но красным отблеском звезда
Горит на нашем паровозе!
Эй, солнце!
Луч в окно ты вдень,
Пускай окно в лучах хохочет!
А были дни темнее ночи
И ночь милей, чем светлый день!*

Далеко тут до Маяковского и даже Демьяна Бедного. Строчки, написанные на ходу, впопыхах, на потребу момента. А что мог еще предложить комсомольский вития?

Наверное, нелегкими были раздумья Корнилова, и потому он медлил. У кого бы он стал исповедоваться, у кого — единственного в целом мире, кто бы его понял и наставил на путь истинный? Ну, конечно, у Сергея Есенина. Только у него, больше не у кого.

Осенние ночи становятся все длиннее. Минуют октябрь, ноябрь, прежде чем, не дождавшись никакого направления на учебу от комсомольского губкома, он, член РЛКСМ Семеновской организации, билет № 1061, получает добро на выезд в Ленинград по месту жительства родственников. И выезжает туда, как только узнает, что в Ленинграде остановился в гостинице Есенин.

А Есенина уже не было на свете. Его нашли мертвым в мрачном номере гостиницы “Англетер” с веревкой на шее. В ночь с 29-го на 30 декабря тело Есенина перенесли в товарный вагон, который прицепили к поезду, отправлявшемуся в столицу. И вполне возможно, что состав, в котором ехал Корнилов в Ленинград, встретился где-то в пространстве с поездом, везущим мертвого русского гения. Вот так и пересеклись пути родственников поэтов, явившихся на свет в провинциальной глубинке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СТРАДА

Ленинград встретил провинциала вокзальной толчеей, трамвайными звонками на Невском, окриками извозчиков, громкими клаксонами автомобилей, частым перестуком копыт лошадей по деревянным торцам проспекта, припорошенного свежим снегом.

Несмотря ни на какие утраты, жизнь продолжала свой неостановимый бег. И недолгое замешательство не заставило Корнилова взять обратный билет — натура бы воспротивилась. Вскоре он узнает, как попрощался Питер в помещении Союза писателей на Фонтанке с телом поэта, привезенным на дрогах из Обуховской больницы. Во все время гражданской панихиды длилось оцепенелое молчание, никто не смог произнести ни слова — нежданная смерть ошеломила всех. А через день, 31 декабря, Есенина хоронила

Москва. Тысячи людей двинулись по Никитскому бульвару на Страстную площадь к памятнику Пушкину. Гроб с телом народного любимца был трижды обнесен вокруг памятника первому поэту России. По воле матери Есенина Татьяны Федоровны на могиле ее сына на Ваганьковском кладбище установили деревянный крест. И высоким холмом возвысились над могилой плотно уложенные венки.

...По словам семеновского краеведа Карпа Васильевича Ефимова, Корнилов устроился на жительство в Ленинграде у тетки Клавдии Михайловны. В самом начале 1926 года он появляется на заседании литературной группы “Смена”, которая занималась в доме № 1 по Невскому проспекту напротив Адмиралтейства.

Один из литкружковцев – Геннадий Гор – впоследствии вспоминал: “Я присутствовал на том вечере, когда Борис Корнилов читал свои первые стихи в литературной группе “Смена”.

Это были удивительные стихи, совсем особенные. Мне казалось, его голосом говорят семеновские леса, его родной край... Вообще, в натуре Бориса и его чудесной поэзии было много нежности, грусти, человечности, которые Борис подчас стыдливо прятал, чтобы не уронить свою мужскую сущность, да и время было суровое”.

Увы, не все разделяли мнение Гора. “Деревенские мотивы” провинциального поэта некоторые восприняли как экзотику, а иные усмотрели в них “есенинщину”. Сугубо городская ленинградская поэтическая школа культивировала свои вкусы, и предпочтение отдавалось поэзии выверенной, строгой по языку и пластике, в немалой степени рационалистичной. Влияние этой школы наиболее заметно проявлялось в стихах Николая Тихонова. Но в литгруппе “Смена” не были чужды новым веяниям. Сам ее руководитель Виссарион Саянов испытывал влияние и футуризма, и акмеизма, которые в ту пору увлекали чуткую к разным новациям молодежь.

Оказавшись среди искушенных знатоков и ценителей поэзии, Корнилов чрезвычайно взыскательно стал относиться к своему дарованию. Он много читал, поглощая книгу за книгой, и, как отмечал Николай Браун, “писал ежедневно, всегда и везде, в любых условиях”. Его не покидало вдохновение. Он оказался в самой благоприятной атмосфере, о которой только можно было мечтать. И, конечно, с великой охотой, когда представилась возможность, поступил на Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств, расположенном в особняке напротив Исаакиевского собора. Здесь преподавали Юрий Тынянов, Виктор Шкловский, Иван Соллертинский, Борис Эйхенбаум. Выступали в институте Владимир Маяковский и Эдуард Багрицкий.

Корнилов учился, как и писал, с азартом, отличаясь тем же прилежанием и внимательностью, с которыми когда-то в Дьякове овладевал грамотой на уроках отца, стоя у школьной печки.

Но курсы он посещал не один, а вместе с любимой девушкой, а затем женой Ольгой Берггольц.

Они познакомились на занятиях литгруппы “Смена”, о чем Берггольц свидетельствовала: “Вот там я и увидела коренастого низкорослого парнишку в кепке, сдвинутой на затылок, в распахнутом пальто, который независимо, с откровенным и глубочайшим оканьем читал стихи:

*Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова, –
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.*

Глаза у него были узкого разреза, он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что читает, что я сразу подумала: “Это ОН”. Это был Борис Корнилов – мой первый муж, отец моей первой дочери.

Литературной группой “Смена” сначала руководил Илья Садофьев, один из первых пролетарских поэтов, затем – Виссарион Саянов. Приезжал к нам Михаил Светлов в черном не то тулупе, не то кафтане, с огромным количеством сборок сзади – в общем, в наряде, похожем на длинную и громоздкую бабью юбку. Здесь, может быть впервые, он прочитал свою бессмертную “Гренаду”...”

Времени и у Корнилова, и у Берггольц всегда было в обрез, тем более что Ольга поступила на работу курьером в “Вечернюю красную газету”, которую редактировал Петр Чагин, близкий друг Есенина.

И все же выпадали свободные часы, когда влюбленные могли остаться наедине, побродить по заповедным местам старого Питера. Начинали с Дворцовой площади, которая была переименована в площадь Урицкого и где совсем недавно тогдашний городской глава Григорий Евсеевич Зиновьев намеревался на пятидесятиметровой Александровской колонне заменить ангела, попирающего крестом змею, фигурой вождя мирового пролетариата Ленина в римской тоге. Выходили на Сенатскую, оберегаемую непоколебимым “Медным всадником”, возле которого собирались декабристы. Бродили по набережной Невы, а затем выходили на Невский проспект и, повернув с него, шли вдоль Фонтанки до самых дальних домов, в одном из которых в Коломне Пушкин писал “Руслана и Людмилу”.

Первую книгу “Молодость” Борис Корнилов посвящает своей жене Ольге Берггольц.

И книга, выпущенная трехтысячным тиражом, приносит ему успех. Запевные ее стихи были обращены к родному краю, кержацкому бытию, к неизбывной любви, связанной с дорогими сердцу местами. Нет, не смутило ни автора, ни редактора книги Виссариона Саянова, что в этих стихах можно было обнаружить влияние Есенина. Уже многим открылась особая манера Корнилова говорить “своей речью”, используя свой метафорический набор и свои густые краски, чтобы слово становилось полновесным, рельефным и зримым. В нем, этом слове, чувствовалась натура упористая, неслоротимая, вольная, как сама заволжская суровая природа, ее ненарушенная первозданность, огражденная дебрями заповедность, откуда изначала берутся и сила, и достоинство, и прозрение.

Исконное русское слово оживало под пером заволжского чудо-творца, напоминающая, что не всегда следует распахивать душу и не все можно произносить вслух, чтобы не сглазить, не утратить, не погубить.

*Это русская старина,
вся замшенная, как стена,
где водою сморена смородина,
где реке незабвенность дана, —
там корежит медведя она,
желтобородая родина,
там медведя корежит медведь.
Замолчи!
Нам про это не петь.*

Нет, не так уж он прост, черноглазый крепыш из глухого медвежьего угла в распахнутом драповом пальтеце, косоворотке и кепке, сдвинутой на затылок.

Впрочем, Корнилов не противопоставлял в своей природной, самородной основе прошлое и настоящее, старое и новое, он видел их органическую связь. Может быть, неосознанно — чутьем, а может быть, сознательно он отвергал краеугольный принцип, выраженный в “Интернационале” словами: “до основанья, а затем...” Прочность построенного без фундамента сомнительна. Крона не может обойтись без корней. Вот почему отъединение одного от другого так мучительно, так жестоко и так трагично.

Никогда не отрекавшийся от Есенина, ценивший дружбу с ленинградскими собратьями по перу, Борис Корнилов высоко ставил и Маяковского, с которым однажды встретился. Об этом вспоминала Берггольц:

“Никогда не забуду, как в Доме печати на выставке Владимира Владимировича “Двадцать лет работы” (это было 5 марта 1930 года. — **В. Ш.**), которую почему-то почти бойкотировали “большие” писатели, мы, несколько человек “семеновцев”, буквально сутками дежурили около стендов, страдая от того, с каким грустным и строгим лицом ходил по пустующим залам большой, высокий человек, заложив руки за спину, ходил взад и вперед, словно ожидая кого-то очень дорогого и все более убеждаясь, что этот дорогой человек не придет. Мы не осмеливались подойти к нему, и только Борис, “набравшись нахальства”, предложил ему сыграть в бильярд. Влади-

мир Владимирович охотно принял предложение, и нам всем стало отчего-то немножко легче, и, конечно, мы все потащились в бильярдную смотреть, как “наш Корнилов” играет с Маяковским”.

Константин Мартовский поведал, что якобы Корнилов при встрече в Нижнем рассказывал ему, как попенял Маяковскому на то, что он назвал Есенина “звонким забулдыгой-подмастерьем”, хотя Есенин вовсе не подмастерье, а мастер.

Вполне возможно, что так оно и было. Корнилову не откажешь в решительности.

Роковым 1930 год был не только для Маяковского, ушедшего из жизни, но и для Бориса и Ольги, которые расстались.

В 30-м же году, получив после окончания учебы на филологическом факультете университета диплом, она вместе с однокашником Николаем Молчановым уехала в Казахстан, чтобы помогать строить социализм в глубинке. Там работала она разъездным корреспондентом краевой газеты “Советская степь”, а когда любимого Николая призвали в армию, вернулась в Ленинград к матери и дочке Ирине, поступила на работу в многотиражку завода “Электросила”.

Жизнь Бориса Корнилова без Ольги складывалась по-разному, но вдохновение не изменяло ему. Он работал с той же напористостью и воодушевлением, как и в первые месяцы в Ленинграде, и заметно было, как возросло его мастерство. Одним из программных его стихотворений стало “Чаепитие”, где он, прозренчески сказав, что “деревня российская – облик России”, посвятил ей такие строки:

*Во веки веков осужденный на скуку,
на психоанализ любовных страстей,
деревня, – предвижу с тобою разлуку, –
внезапный отлет одичавших гостей.
И тяжко подумать – бродивший по краю
поемных лугов, перепутанных трав,
я все-таки сердце и голос теряю,
любовь и дыханье твое потеряв.*

Несомненно, эти стихи тогда воспринимались с настороженностью, в них могли усмотреть и “богемность”, и “есенинщину”, ведь совершенно другой взгляд проповедовали Илья Сельвинский, Александр Жаров, Александр Безыменский, Яков Шведов, Николай Дементьев, увлеченные пафосом повсеместной ломки и перестройки.

Стоит внимания твердое мнение Бориса Пастернака о поэзии того времени, которое он изложил в 1952 году в письме Варламу Шаламову: “Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы... Именно в те годы сложилась та чудовищная поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма...”

...Корнилов бодрился, демонстрировал свою уверенность и безмятежность, однако сборник “Первая книга” вышел в свет с директивно-проработочным издательским предисловием, где указывалось на “непреодоленные” творческие ошибки, “мировоззренческую отсталость”, неспособность “понять классовую сущность явлений” автора, не замечающего, что он порой говорит с “чужого голоса”. А явно навязанное автору название сборника как бы игнорировало фактически первую его книгу “Молодость”. Атаки рапповских критиков, которые обвиняли Корнилова в классовой близорукости, апологетике кулачества, в “есенинщине”, сбивая его с толку требованиями рифмованных откликов на достижения ударников, строящих социализм, боеготовность армии, освоение диких пространств и на агитки, понуждали поэта если не кривить душой, то, во всяком случае, отделяваться декларативными строчками, которые пишутся чуть ли не автоматически. Пример чему – неудачный цикл “Апшеронский полуостров”.

Летом 1930 года Корнилов побывал в творческой командировке в Азербайджане, откуда с ворохом “обязательных” стихов возвращался по Каспийскому морю, а затем по Волге в родные края, решив заехать в Семёнов. В июле на пароходе им было написано одно из лучших его стихотворений “Качка на Каспийском море”. Когда пароход приближался к Нижне-

му Новгороду, стихотворение было уже готово. Оно появилось в журнале “Новый мир” в начале 1931 года. Этот год оказался одним из самых плодотворных у Бориса Корнилова, который вслед за “Первой книгой” выпустил сборник “Все мои приятели”, а стихи его кроме “Нового мира” печатались в журналах “Звезда”, “Ленинград”, “Стройка”.

Совпал со своим временем Борис Корнилов в знаменитой “Песне о встречном”, благодаря которой он стал известен всей стране и вошел в число самых популярных советских поэтов. Совпадение было совершенно феноменальным, “Песню” сразу подхватили и заучили наизусть даже в отдаленнейших краях. Музыку к словам Корнилова написал молодой композитор Дмитрий Шостакович. Созданная в 1932 году для кинофильма “Встречный” бодрящая духоподъемная песня выразила порыв всего поколения.

С середины тридцатых годов жизнь стала налаживаться. Были отменены карточки, пришло время свободной госторговли, открылись парфюмерные и цветочные магазины. Многолюдно становилось в парках культуры и отдыха. И вместо устаревших танцев “ой-ру” и “карапет”, которыми увлекалась молодежь после Гражданской войны, вошли в моду фокстрот и танго. Уже не вызывали отторжения галстуки и шляпы, заиграли в домах патефоны, выдаваемые в виде награды ударникам, появились на улицах велосипедисты.

Едва ли кто мог предполагать, что передышка будет короткой. А впрочем, все знали о тревогах на границе и особенно не расслаблялись. На лацканах пиджаков подтянутых статных парней нередко можно было увидеть значок “Ворошиловского стрелка” или ГТО (“Готов к труду и обороне”). Заниматься спортом было чуть ли не обязанностью. Так выглядела страна, так выглядел Ленинград, где самым почитаемым человеком до своей гибели и после нее считался Сергей Миронович Киров – ближайший соратник Сталина.

Время требовало воли – и она была, требовало знаний – ими овладевали, требовало сердца – его не жалели.

Ленинград не дал потеряться талантливому провинциалу, оценил его талант и закалил его характер, признал своим. Новую любовь он тоже нашел здесь, женившись на молоденькой Циле Боренштейн, которую имел обыкновение называть Люсей. В маленькой квартире на Петроградской стороне, а затем в двухкомнатной квартире в доме на канале Грибоедова у них, по свидетельству начинающей поэтессы Елены Серебровской, постоянно были гости, и благодаря Корнилову она могла увидеть и послушать стихи Бориса Лихарева, приезжавших из Москвы Ярослава Смелякова и Сергея Поделкова.

Корнилов притягивал к себе многих поэтов, которые становились его друзьями, составляли ему компанию, делили с ним свои мысли и чувства. Он окончательно стал считаться ленинградским стихотворцем не только по прописке, но и по духу. Да и сам себя таким считал:

*Мне по-особенному дорог,
дороже всяческих наград
мой расписной,
зеленый город,
в газонах, в песнях
Ленинград.*

Он сжился с Ленинградом, вжился в него, и город питал его душу, дарил ему вдохновение, соответствуя его размашистости и общительности.

Вот что, например, вспоминал известный книжный иллюстратор Валентин Курдов, друживший с Корниловым:

“Васильевский остров просто называли Васиным. На Васином издавна проживали художники. В старых мастерских – мансардах – осенью протекали крыши и на полу стояли тазы и ведра, зимой же замерзала вода в стаканах. К этому можно добавить еще и то, что наши желудки всегда были пустыми. И все-таки мы жили веселой и счастливой творческой жизнью.

Хочу рассказать об одной вечеринке в мастерской Гриши Шевякова на 8-й линии, куда был приглашен Корнилов.

Наши вечеринки и сборища часто ознаменовывались изготовлением пельменей. Проще простого купить муки и мяса и стряпать всей компанией, вспоминая далекую домашнюю жизнь. Веселое занятие, близкое сердцу провинциалов.

Пир наш сопровождался всегда исполнением городских уличных песенок, деревенских частушек, хоровым пением “Бродяги”, обязательной борьбой друг с другом и, конечно, чтением стихов Есенина и Маяковского...

Борю Корнилова не нужно просить читать, он сам безудержно предаётся своей поэзии и сменяет одно стихотворение другим.

Вот уже далеко за полночь, а мы все слушаем и слушаем. Кто-то бросил клич: “Качать!” Тогда мы хватаем Борю за ноги и руки и начинаем подбрасывать его...

Время, к которому обращается моя память, не знало ни твиста, ни буги-вуги, мы просто отплясывали чечетку. Гитаре тут нечего было делать. Стучали в такт по посуде, столам и стульям, бутылкам – словом, по всему, что попадало под руки. Боря, сбросив пиджачок, подпоясанный, в сапожках, пошел бочком в пляс и начал выкаблучивать, выкидывая коленица и фортели вольной русской “барыни”. Я любовался его ухарской удалью и залихватской пляской. Так пляшут на Руси на свадьбах”.

Вселенским переворотом, мировой революцией бредили еще долго, веря во всеобщее коммунистическое счастье. И Корнилов тут был не самым “забойным”. Пожалуй, Александр Прокофьев превзошел его: “Сократить производство кастрюль и других сковородок. И побольше железа: на сабли, на рельсы, на балки, идущие вверх”.

Тогда это воспринималось всерьез.

Шутки же обходились слишком дорого.

При всем при том в 30-е годы были созданы замечательные образцы гражданской поэзии, произведения, которые и сейчас поражают высоким искусством слова, выразительностью образов, силой захватывающего чувства, трагедийной мощью. К таким произведениям может быть причислена героическая поэма Бориса Корнилова “Триполье”, основанная на подлинных событиях.

Современники сразу же оценили духовную высоту этой поэмы. В 1933 году она выходит отдельной книжкой в ленинградском отделении издательства “Молодая гвардия”. О ней узнают в Центральном комитете комсомола. И вот уже там в присутствии комсомольского главы Александра Косарева Борис Корнилов читает ее, покоря слушателей эпической силой произведения, в котором, безусловно, проявлены традиции русской классики и где витает дух неистового Аввакума.

*Мы еще не забыли
пороха запах,
мы еще разбираемся
в наших врагах,
чтобы снова Триполье
не встало на лапах,
на звериных,
лохматых,
медвежьих ногах.*

Поэма Корнилова без промедления была переиздана в Москве.

На молодого ленинградского поэта обратил внимание знаменитый режиссер Всеволод Мейерхольд. Новатор театра предложил Корнилову сотрудничество, и тот решил взяться за пьесу в стихах о классовой борьбе в деревне, опираясь на реальные события, связанные с гибелью трех семеновских комсомольцев, попавших в руки дезертиров. Известно, что Мейерхольд с Корниловым даже договаривались съездить в Семенов. Их отношения стали настолько непринужденными, что режиссёр как-то навел на поэта в стоматологической больнице и развлекал его, изображая страдающего зубной болью медведя. Вскоре поэт написал чудесную сказку для детей “Как от меда у медведя зубы начали болеть”.

Доверительные отношения сложились у Бориса Корнилова и с женой Мейерхольда, актрисой Зинаидой Райх. Ей он посвятил стихотворение “Соловьи-ха”, носящее в рукописи название “Ревность”. По свидетельству Ярослава Смелякова, автор читал его на квартире Мейерхольда в присутствии известных артистов и музыкантов. Оно чрезвычайно нравилось прекрасной Зинаиде Николаевне, которая была намного моложе своего шестидесятилетнего мужа.

В печати стихотворение появилось без посвящения. Видимо, на то были свои причины. И можно предположить – какие. Во всяком случае, через некоторое время общение с семьей Мейерхольд прервалось.

Вторая половина августа 1934 года ознаменовалась важнейшим событием в истории страны Советов – состоялся Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Съезд открыл короткой вступительной речью Максим Горький. С докладом о поэзии выступил член Центрального Комитета ВКП(б), редактор газеты “Известия” Николай Бухарин.

Конечно, он не обошелся без косноязычной, принятой тогда у партийных вожаков риторики: “Наша страна занимает сейчас мировую позицию...”; “Мы имеем великолепные успехи в области классовой борьбы пролетариата...”; “Гигантские пласты новых людей поднимаются к настоящей культурной жизни...” А вследствие этого “чрезвычайно резко подчеркнута проблематика качества решительно на всех фронтах...”, “все проблемы строительства социализма – в том числе и его культурные проблемы – взлетают на новые, гораздо более высокие уровни...”; “историческая необходимость наполняет новым содержанием огромный человеческий резервуар...”; “Нам нужно иметь сейчас смелость и дерзание выставлять настоящие, мировые критерии для нашего искусства и поэтического творчества. Мы должны догнать и обогнать Европу и Америку и по мастерству”.

Поставив такую абсурдную задачу и пространно порассуждав о поэзии как таковой, начитанный оратор перешел к рассмотрению поэтического творчества в стране, заметив, что “Блок уходил своими корнями в быт аристократическо-помещичьей усадьбы” и что “с мужицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин”. Крупнейшими фигурами он назвал Демьяна Бедного и Маяковского. Поэтами “очень крупного калибра” у него оказались Пастернак, Тихонов, Сельвинский и “отчасти” Асеев. Высокую оценку получило творчество Корнилова:

“Среди поэтической “комсомольской” молодежи следует особо сказать о Борисе Корнилове. У него есть крепкая хватка поэтического образа и ритма, тяжелая поэтическая поступь, яркость и насыщенность метафоры и подлинная страсть...”

У него “крепко сшитое” мировоззрение и каменная скала уверенности в победе...”

Корнилову особенно удаются отрицательные типы кулака, описания звериной злобы врагов; здесь его палитра многокрасочна и ярка, мазок широк и уверен, образы скульптурны и выразительны (“Семейный совет”, “Убийца”). “Триполье” местами достигает большой силы...”

Будучи делегатом съезда от Ленинграда наряду с Николаем Тихоновым, Александром Прокофьевым, Виссарионом Саяновым, Михаилом Зощенко, Ольгой Форш, Корнеем Чуковским, Юрием Тыняновым, Борисом Лаврениным и другими известными писателями, Борис Корнилов, безусловно, чувствовал себя именинником после доклада влиятельного и популярного в интеллигентской среде партийного руководителя, принимая бесчисленные поздравления. Имя его подхватила вся пресса. В “Известиях”, редактируемых Бухариным, одно за другим стали печататься его стихи.

...Он много работал, ездил по стране, заводил новые знакомства. И никогда не забывал о своей лесной заволжской стороне, о своих истоках, чему свидетельство прекрасные стихи “Мама”, “Из автобиографии”, “Мы, маленькие, все-таки сумели...”. Снова и снова открываются перед мысленным взором родные картины:

*Мы идем большой травой,
каждый силу не таит,
и над мокрой головою
солнце ястребом стоит.
Белоус берет с размаху
в ночь отбитая коса,
вся в поту моя рубаха,
неподвижны небеса.*

(“Туча”)

Увы, вовсе не таких стихов требовали от него критики, поставившие поэта в “комсомольский” ряд, из которого он то и дело выламывался, не

поступаясь ни своей волей, ни своими патриархальными святынями. А это расценивалось как серьезное преступление.

Труднее становилось жить в Ленинграде, воздуха не хватало. Само собою выговаривалось: “Было весело и пьяно, а теперь я не такой, за четыре океана улетел мой покой”. Утешение он находил только в творчестве.

К Пушкину его потянуло, как в детстве, когда он заучивал наизусть “Медного всадника” и “Полтаву”. А впрочем, не заучивал – сразу запоминал. И Пушкин владел им, когда писалась поэма “Моя Африка”, эпиграфом к которой стали крылатые строчки, всплывшие в памяти: “Под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России”.

Корнилов взялся за создание большого цикла стихов о Пушкине, как бы прочитывая в его судьбе свою судьбу.

И не мог ведать поэт, из скольких частей будет состоять его цикл и чем закончится. Лишь одна навязчивая мысль не оставляла автора, мысль о жизни и смерти, становящейся бессмертием. И, как заклинание, вырвалось у него: “Все о жизни, ничего о смерти”.

Цикл складывался в новую поэму и, вероятно, сложился бы. Встали в свой черед отдельно написанные главы: “Разговор”, “Последняя дорога”, “Пирушка”, “В селе Михайловском”, “Путешествие в Эрзерум”, “Алеко”, “Пушкин в Кишиневе”. Но не сложилось.

Не могло сложиться.

Не успело.

ПОЭЗИЯ ПОД АРЕСТОМ

Наступил 1937-й...

Донос на Бориса Корнилова не содержал никаких веских доказательств, он был состряпан председателем правления издательства “Советский писатель” Н. В. Лесючевским. Считая, что написанное после убийства С. М. Кирова стихотворение “Елка” берет под защиту враждебные элементы, что в стихотворении “Начало зимы” проскальзывает наглая клевета на советский строй, что стихотворение “Чаепитие” кулацкое по своему духу, а стихи “Вокзал” и “Зимой” политически вредные, он пришел к заключению:

“1. В творчестве Б. Корнилова имеется ряд антисоветских, контрреволюционных стихотворений, клеветующих на советскую действительность, выражающих активное сочувствие оголтелым врагам народа, стихотворений, пытающихся вызвать протест против существующего в СССР строя.

2. В творчестве Б. Корнилова имеется ряд стихотворений с откровенно кулацким, враждебным социализму содержанием...”

Далее Лесючевский утверждал, что и многие другие стихотворения содержат антисоветчину, где автор пытается замаскировать подлинный их смысл, применяя “двурушнические метафоры в поэзии”.

И эти дикие обвинения были приняты всерьез. Более того, явная клевета выдавалась за чистую правду, заполняя страницы официальных изданий. Например, страницы “Литературной газеты”, в которой уже по прошествии нескольких месяцев после ареста неугодного автора сообщалось вдогонку:

“Поэта Корнилова много лет считали только пьяницей и дебоширом. Он хулиганил, скандалил, избивал жену, вел себя непристойно как писатель и гражданин. Но что поделаешь с пьяницей? Между тем этот пьяный поэт писал контрреволюционные стихи и распространял их в списках. По дороге из одного кабака в другой он какими-то путями попадал в некоторые иностранные консульства. А в квартире его “каким-то образом” находились секретные документы. Важно вспомнить, что именно на Корнилова и на террориста Павла Васильева делал крепкую ставку Бухарин” (1937, 30 июня).

Терроризм в России был жупелом с царских времен. Не гнушались использовать этот жупел и в 30-е годы, и гораздо позже, как только возникало нежелательное для власти напряжение в обществе. Так что, оказавшись в компании с террористом, Корнилов тем самым обрекался на высшую меру наказания. Все было заведомо рассчитано, все предусмотрено. И следствие велось ради одной лишь проформы.

Говорят, надежда приходит последней. Но и самая последняя надежда не пришла. Концом ее ожидания стала ночь с 19-го на 20 марта 1937 года.

Несомненно, Борис Корнилов готовился к неизбежному часу. И как только за ним пришли, он надел свежую рубашку с запонками и галстук. То есть поступил согласно старому русскому обычаю – в решающий час перед битвой или казнью облачаться во все чистое. Однако едва ли он думал о смерти, ничего им не было содеяно такого, чтобы его лишить жизни. Другое дело – лишить свободы.

И, действительно, в постановлении о предъявлении ему обвинения, подписанном младшим лейтенантом госбезопасности оперуполномоченным Николаем Лупандиным, извещалось, что гражданин Корнилов Борис Петрович, 1907 года рождения, уроженец Горьковского края, русский, гражданин СССР, литератор, достаточно изобличается в том, что он занимался контрреволюционной деятельностью, является автором контрреволюционных произведений и распространяет их, ведет антисоветскую агитацию. Постановлено: Корнилова Б. П. привлечь в качестве обвиняемого по статье 58, пункт 10 и избрать содержание под стражей. . .

По статье 58 привлекали за антисоветскую агитацию, пункт 10 предусматривал содержание в лагерях от восьми до десяти лет.

Краеведу Карпу Васильевичу Ефимову довелось тщательно изучить следственное дело поэта. Оказалось, что после семи допросов Корнилов полгода не вызывался к следователю. Шесть месяцев он провел в камере в томительном ожидании. Такая длительность подобна изуверской пытке. Видимо, до конца неясно было, как поступать с поэтом. В нарушение правовых норм его держали в резерве.

Дело в том, что от обкомов партии в ЦК поступали телеграммы о необходимости усиления репрессий, и 31 января 1938 года ЦК принимает решение о дополнительной разрядке на расстрелы. Не составляло труда отобрать кандидатов среди тех, кто уже сидел в камерах. Не составляло также труда состряпать соответствующие обвинительные заключения, что никакому обжалованию не подлежали, как бы ни были абсурдны.

И вот 13 февраля 1938 года Борис Корнилов предстал перед следователем, зачитавшим обвинительное заключение, составленное в соответствии с указаниями сверху лейтенантами госбезопасности Резником и Гантманом:

“Следствием по делу ликвидированной троцкистско-зиновьевской террористической организации, совершившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство секретаря ЦК ВКП(б) С. М. Кирова, была установлена принадлежность к этой организации Корнилова Бориса Петровича. На основании этих данных Корнилов Б. П. был привлечен к ответственности и арестован. Установлено, что Корнилов Б. П. с 1930 года является участником троцкистско-зиновьевской террористической организации, куда был завербован руководящим участником той же организации Горбачевым (осужден). С 1930 года обвиняемый Корнилов участвовал в нелегальных сборищах указанной организации, устраиваемых на квартире Грабаря (осужден). На этих сборищах участники организации критиковали с контрреволюционных позиций мероприятия ВКП(б) и Советского правительства по основным хозяйственно-политическим вопросам, культивировали злобную ненависть к руководству ВКП(б) и высказывали террористические намерения против руководителей ВКП(б) и Советского правительства. Эти террористические установки обвиняемый Корнилов одобрял. Обвиняемый Корнилов нелегально распространял свои контрреволюционные литературные произведения под названием “Чаепитие”, “Елка” и “Прадед”*, в которых призывал к организованному противодействию коллективизации сельского хозяйства и защите кулачества от репрессий Советской власти.

Виновным себя признал полностью, кроме того, изобличается показаниями обвиняемого Свирина, свидетелей Савронского и Андреева, а также материалами экспертизы. . .”

По своей воле признать себя виновным Борис Корнилов никак не мог – это было бы не только против совести, но и против смысла. Признаний от него добивались жестокими избиениями, бранью и угрозами, не разрешая спать и лишая еды. С ним поступали так же, как и с поэтом Николаем Заболоцким, угодившим в тюрьму позднее, но оказавшимся в руках того же следователя Лупандина, который вел дело Корнилова. Заболоцкий остал-

* Стихотворение “Прадед” было опубликовано в “Известиях” 18 сентября 1934 года.

ся жив, написав впоследствии статью “История моего заключения”, где поделился с читателями всем тем, что ему пришлось испытать и пережить в застенках госбезопасности.

Спустя неделю выездная сессия Верховного суда приговорила Бориса Корнилова к высшей мере – расстрелу. Приговор обжалованию не подлежал. Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР, приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно по его вынесении. Безусловно, так и случилось 20 февраля после часа дня, когда под приговором уже стояли подписи.

Пуля прервала жизнь поэта, не узнавшего, что у него родилась дочь Ирина и было ей уже полгода. Все бумаги Бориса Корнилова подлежали уничтожению. И само его имя предано забвению. Об этом “позаботились” некоторые литераторы, проявившие инициативу еще до того, как поэта не стало, чему пример статья А. Тарасенкова в первом номере журнала “Знамя” за 1938 год, где написано: “. . . подвизался в литературе и некий Борис Корнилов”. Некий – это уже никакой. И двадцать лет длилось забвение, словно тяжелый обморок.

По ложному обвинению в начале марта 1938 года был арестован и отец поэта учитель Петр Тарасович Корнилов, который после жестокого избивания на допросе умер в тюремной больнице. Мужское начало рода Корниловых было напрочь изведено.

ПОСЛЕ ЖИЗНИ — БЕССМЕРТИЕ

Не шумят леса без ветра, не томится душа без повода. Год за годом двадцать лет ждала Таисия Михайловна сына, не веря в его гибель. Двадцать мучительно долгих лет. И доходили до нее слухи, что Бориса видели в начале Великой Отечественной войны на фронте, где он под Смоленском попал в плен; что, по другой версии, он замечен был на лесоповале в Кировской области; что кто-то встретил его на пересылке возле одной из станций Хабаровского края, а кто-то в Магадане; что, наконец, в него стрелял конвойный по дороге с работы в зону, когда он наклонился подобрать камешек, а конвойному показалось это подозрительным. . .

Надеясь на встречу с сыном, Таисия Михайловна готовила ему подарок – вышивку, все свое умение и любовь вкладывая в два панно, на одном из которых пышно расцвели цветы, а на другом появился пес, потому что Борис очень любил всякую домашнюю живность и порадовался бы от души.

Как роковую памятку, сохраняла она календарь за 1937 год, потемневший, поветшавший, но с четко пропечатанными датами, где особенно останавливала на себе взгляд одна – 19 марта, пятница – день, когда арестовали сына.

“Она никогда не переставала его ждать, она ждала его всегда”, – обронила знаменательную фразу внучка Таисии Михайловны, приходящаяся Борису Корнилову внучатой племянницей Светлана Геннадиевна Руткова, директор Семеновской средней школы № 2, где в отдельной комнате и размещен небольшой музей достославной учительской семьи, из которой вышел поэт.

Само собой вышло так, что при жизни Таисии Михайловны ее дом на Учительской улице в Семенове стал местом паломничества столичных и местных литераторов. Не раз бывал здесь автор книги о Корнилове Константин Поздняев, навещали мать поэта Ольга Берггольц, Владимир Автономов, Лидия Лопухова. Интересные воспоминания оставил автор посвященного Таисии Михайловне стихотворения Юрий Адрианов:

“Пришли мы в Семенов от керженской деревушки
Взвоз втроем: писатель-ветлужанин Леонид Безруков,
заслуженный артист РСФСР Александр Познанский,
едва ли не первым начавший читать на эстраде стихи Бориса Корнилова,
и я. Свернули на улицу Учительскую, к угловому дому,
где жила Таисия Михайловна.

Она всегда была рада гостям, но не была хлопотливой и растерянной, как случается порой со старыми женщинами. Озаряла ее лицо какая-то достойная коренная красота, что сходит на лица добрых людей под самый закат жизни. . .

В тот давний вечер за чаем Познанский читал стихи Бориса Корнилова. Читал немало, и в том числе “Туесок”:

*Завела такую моду –
В туеске носила воду. . .*

Таисия Михайловна встала из-за стола, вышла в сени.

Через минуту-другую вернулась, держа в руках старый берестяной туес со скромным незатейливым орнаментом.

– Вот он у меня давно. Ольга Федоровна Берггольц прошлым летом приезжала, жила. Просила его у меня с собой в Ленинград, а я оставила... Пока...

Странно, но мне почему-то показалось, что именно об этом туесе и писал когда-то молодой Борис Корнилов”.

Да, вполне может быть, что об этом, тоскуя о родных незабвенных местах, которые олицетворяла юная Анна в полосатом сарафане, приносившая косарям квас со льда или родниковую воду в туесе.

*Часто вижу я воочью
наши светлые края,
вспоминаю часто ночью –
где же Аннушка моя?
Где, в каких туманах кроясь,
опадает наземь лес,
где коса твоя по пояс,
твой берестяной туес?..*

*Шли мы вместе,
шли мы в ногу,
я посылке буду рад –
запакуй туес в дорогу,
адресуй на Ленинград.*

Не ведало покоя материнское сердце старой учительницы и ничто не утешало его: ни сочувствие близких, ни утешение учеников, ни внимание к ней нижегородских писателей. В июле 1956 года она получила ответ на письмо, посланное в Ленинградское отделение ССП. Ее уведомили, что возбуждено ходатайство о пересмотре дела по реабилитации Б. П. Корнилова. А вскоре она узнала, что инициатором пересмотра этого дела еще в июле 1955 года стала ее первая сноха Ольга Берггольц.

Таисия Михайловна безотлагательно написала ей, как только узнала адрес, сердечно благодаря ее за хлопоты, закончившиеся успехом. И вот в Семенов пришло ответное письмо от Берггольц. В нем, в частности, были такие строки:

“Дорогая Таисия Михайловна!

Безмерно рада была получить от вас весточку, – когда я возбуждала дело о реабилитации Бориса, мне сказали, что все его родные погибли...

Благодарить меня не за что. Я решила исполнить свой долг перед Борисом, как поэт перед большим поэтом, и во имя той светлой и горькой первой любви, и первого материнства, которое связано с ним.

Милая Таисия Михайловна, он уже совершенно и полностью реабилитирован, честь его восстановлена. Я получила на дом официальное уведомление из Главной военной прокуратуры, что дело его передано на утверждение в Верховный суд. Я бы послала вам эту бумагу, но должна иметь ее под руками, так как направила в Верховный Суд просьбу о срочном утверждении реабилитации, поскольку в будущем году мы хотим издать полное собрание его стихов, и уже сейчас это надо внести в план издательства и срочно составить комиссию по литературному наследию... Я сохранила все книги Бори и с помощью товарищей собрала все, что было напечатано в газетах и журналах. Очень, очень хорошо, что вы связались со мной, – это значит, что теперь я могу узнать, кто имеет право на его наследство... Надо сказать, что в реабилитации Бориса много помогли мне ленинградские писатели, знавшие его, – Александр Решетов, Борис Лихарев и другие. Его мы вообще никогда не забывали. Мне тяжело писать вам, что его нет в живых, – но, увы, это так...

Родная Таисия Михайловна, милая моя мать, мать первой моей любви, обнимаю вас и плачу над Борисом вместе с вами, – ужасно, что все это так случилось, но чудесные стихи его живы и будут долго-долго жить, их будут знать, им будут радоваться сотни тысяч русских людей...”

Вот и соединилась разомкнутая цепь, вот и прильнули друг к другу

самоотверженные чуткие души, которые осветила одна привязанность и одна трагедия.

Еще до войны, в 1939 году, Берггольц посвятила ему такие доверительные строки, словно он был еще жив:

*Не стану прощенья просить я,
ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если – я верю – вернешься обратно,
но если сумеешь узнать, –
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем, –
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою – о чем.*

Он оставался для нее близким человеком.

А когда она потеряла всю родню – самой близкой для нее стала мать Бориса, Таисия Михайловна, которую она назвала своей матерью. И настал день, когда Ольга Берггольц приехала в Семенов, где ее встретили по-родственному тепло и сердечно. Еще были живы люди, которые видели ее вдвоем с Борисом молодыми и счастливыми. И особенно хорошо их помнили в Ильино-Заборском, где они провели не одну неделю.

Ильино-Заборское – один из самых дальних углов Семеновского района, близ истока Керженца. Это здесь были обнаружены землянки – скрытные жилища староверов-первопоселенцев, которых преследовали царские каратели. Но это – глубокая история. В поселке же всего заметнее следы новой и новейшей: колокольня с уничтоженным верхом, хорошо видная от моста над речкой Белбаж; разрушенный храм Тихвинской иконы Божией Матери; еще крепкие, почерневшие от времени бревенчатые дома, на которые не жалели хорошего леса; высокие поленицы в два, а то и три ряда, просторные огороды, где хозяйшки вместе с овощами ныне сажают много цветов, чтобы эта живая красота радовала глаз.

В школе на широком взгорье за мостом в одной из комнат расположен музей истории и быта, который находится в ведении преподавательницы истории Татьяны Николаевны Готовцевой.

В музее есть немало экспонатов, напоминающих о времени, когда творил Борис Корнилов. Хранится здесь, например, январский номер журнала “Новый мир” за 1937 год, посвященный 100-летию со дня смерти Пушкина. В нем последняя перед арестом значительная публикация земляка – его стихотворение “Это осень радости виною...”

Корниловские праздники в Семеновской округе зародились как бы сами собой, но ничего не бывает случайно. Еще в 1927 году Петр Тарасович Корнилов провел первый литературный вечер своего сына, выступив перед учителями Ильино-Заборской волости со стихотворением “Усталость тихая, вечерняя”.

Надо было не только восстановить доброе имя поэта, но и увековечить его. В мае 1962 года в Семенове появилась улица Бориса Корнилова, называвшаяся прежде Крестьянской. Задумали жители поставить своему дорогому земляку памятник. И гранитный монумент, созданный скульптором Анатолием Бичуковым, был поставлен в центре города.

Открытие памятника в Семенове состоялось при стечении народа декабрьским полднем 1968 года. С благодарственным материнским словом выступила Таисия Михайловна. И, конечно, духовой оркестр исполнил нестаревшую “Песню о встречном”.

Ежегодно день рождения поэта-земляка 29 июля Семенов отмечает праздником поэзии, участники которого бывают в селе Покровском и Меринове на Керженце, посещают Беласовку, где жила последние годы Таисия Михайловна, заходят в Дьяково и Жужелку.

Верно было сказано другом Корнилова в юные годы Александром Решетовым: “Не по чьей-то доброте или жалости возвращается он в жизнь: достойный ее, он нужен и принадлежит ей”.

*Ты не уйдешь, моя сосновая,
Моя любимая страна!
Когда-нибудь, но буду снова я
Бросать на землю семена.*